

## ЗАМЕТКА О ПУШКИНЕ

Гоголь, приехав в Петербург, поспешил к светилу русской поэзии. Был час дня уже поздний.

«Барин еще спит», — равнодушно сказал ему лакей.

«Верно, всю ночь писал?» — спросил автор Ганса Кюхельгардтена.

«Нет, всю ночь играл в карты».

Диалог этот — многозначителен, т. е. в вопросе Гоголя. Как *не пусты* уже его юношеские письма, напр., между прочим к матери! Это — послушник в стихаре, вообще какой-то член церковной службы, коего речь постоянно сбивается на поученье. Несравненный рассказчик, в письмах он не умеет рассказывать. Но письма суть *самый не надуманный вид литературы*, и вот именно в них — какая-то вечная надуманность у Гоголя, т. е. вдумчивость, дума.

Печально я гляжу на наше поколенье

эта строфа Лермонтова — почти эпиграф к «Выбранным местам из переписки с друзьями», да и вообще ко всем моральным фрагментам Гоголя. Вечная, говорю я, надуманность, так что, переходя от переписки Гоголя к его «творениям», чувствуешь некоторую их искусственность: он «не от души» рассказывал, как милейший почтмейстер о капитане Копейкине. Напротив, садясь «сочинять», он ставил тему, он ее развивал и доводил до конца. Отсюда необыкновенная зрелость *мысли* в его «творениях». Их высокое совершенство есть уже плод его технического гения, «таланта», «богоданной» руки, что вообще никак нельзя сливать с «думкою» человека, «пением» его сердца, порывом, потоком, течением то слез, то радости. Гоголь имел гений

комической техники при странно трагическом сложении души.  
Во всяком случае вопрос:

«— Верно всю ночь писал?»

— характерен. Гоголь всю бы ночь писал, как и Лермонтов:

Бывают тягостные ночи:  
Без сна, горят и плачут очи.  
На сердце — жадная тоска;  
Дрожа, холодная рука  
Подушку жаркую объемлет;  
Невольный страх власы подъемлет;  
Болезненный, безумный крик  
Из груди рвется — и язык  
Лепечет громко, без сознанья.

Тогда — пишу.

Что строки эти списаны с натуры и представляют как бы портрет самого художника, снятый с отражения лица своего в зеркале,— видно из того, что знаменитый этот отрывок есть собственно *вставка, прерывающая течение пьесы «Журналист*, читатель и писатель» — и даже повторяющая в теме предшествующий абзац, но повторяющая его *истиннее и действительнее*:

О чем писать?.. Бывает время,  
Когда забот спадает бремя,  
Дни вдохновенного труда...

Поэт как бы *перебивает и исправляет*:

Бывают тягостные ночи...

Мы не умеем доказать, но кто много писал и знает технику писанья, прямо повторит за нами, догадавшись из намека, что монолог

...холодная рука  
Подушку жаркую объемлет —

есть автобиографическое даже не «признание», а невольно вырвавшийся крик. И опять это не то, что:

«— Нет, играл в карты всю ночь».

«Боже, как мне писать хочется!» — воскликнул Толстой, где-то около родных своих Хамовников, в Москве, возвращаясь домой, среди толпы знакомых и друзей. Была ночь; верно, звездная ночь. И вот, остановившись и как бы не помня себя, он прошептал вслух:

«— Как же мне писать хочется».

Опять это как у Лермонтова, как у Гоголя; и характерно противоположно тому, как у Пушкина. О Достоевском записано:

«Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой (так называемой круглой каморе) спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом, изолированном от других столиков, месте сидел и занимался Ф. М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом его делалось; в известные установленные часы товарищи его строились к ужину, проходили по круглой каморе в столовую, потом с шумом проходили в рекреационную залу, к молитве, снова расходились по каморам; Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бывший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокую ночь, можно было заметить Ф. М. у столика сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло; щиты, которые ставились к рамам, никак не предохраняли от внешнего холода; особенно это было чувствительно подле окна, где Ф. М. любил заниматься. Нередко на замечания мои, что здоровее вставать ране и заниматься в платье, Ф. М. любезно соглашался, складывал свои тетради и, по-видимому, ложился спать, но проходило немало времени, его можно было видеть опять в том же наряде, у того же столика, сидящим за работою. В то время нельзя было думать, чтобы предметом занятий Ф. М. был его первый роман «Бедные люди», но, зная способности и прилежание его в учебных занятиях, нельзя было предполагать, чтобы Ф. М-чу недоставало днем времени для этих занятий; я тогда же допускал, что постоянная усидчивая его работа, работа письменная, ночью, когда никто ему не мешал, была литературная, и, конечно, не для газеты, издававшейся в роте под заглавием «Рижский сняток», а для более серьезного предмета. Но какая это была работа, отгадать было трудно; сам же Ф. М. никому об ней не говорил».

Т. е. опять, у этого третьего:

...Диктует совесть,  
Пером сердитый водит ум.

Что-то подобное в настроении, потому что подобное в манере письма.

Осень, ненастная осень была лучшим временем для писания у Пушкина; ссылка и карантин — это два места и внешние положения, два условия труда, среди которых и были созданы, по его собственному признанию и разысканиям биографов, все лучшие его создания. Что это значит?.. Тогда как Гоголь для

писания вырвался в Рим, Достоевский — сквозь нищету никогда не искал службы и обеспечения. Лермонтов вечно рвался — то на Кавказ, то куда-нибудь. Для одних простор, внешний, почти пространственный простор, есть требуемое и достигаемое условие созидания; для другого условием созидания служит внешнее и почти пространственное же ограничение.

Пушкин писал не всегда. Ночь, Свобода. Досуг:

— Верно, всю ночь писал?

— Нет, всю ночь играл в карты.

Он любил жизнь и людей. Ясная осень, даже просто настолько ясная, что можно выйти, пусть по сырому грунту, в калошах,— и он непременно выходил. Нет карантина, хотя бы в виде непролазной грязи,— и он с друзьями. Вот еще черта различия: Пушкин — всегда среди друзей, он — *дружный* человек; и, применяя его глагол о «гордом славянине» и архаизм исторических его симпатий, мы можем «дружный человек» переделать в «дружинный человек». — «Хоровое начало», как ревели на своих сходках и в неуклюзых журналах славянофилы. Достоевский, Толстой, Лермонтов имеют только видимость знакомств. «Его никто не знал», — замечает о Гоголе С. Т. Аксаков (*«Воспоминания»*), «знавший» его чуть не 20 лет. Т. е. «знать» Гоголя, как равно Лермонтова, Достоевского, — значило просто ничего не знать о них и даже вовсе почти не быть знакомым с ними. Какая-то вешалка с платьем, а *не человек*: вот кого или скорей бездушное что-то, что обнимали Погодин, Аксаковы или, пожалуй, Савельев, Ризенкампф, А. Майков и, далее, Краевский или Столыпин — в Достоевском и Лермонтове. Душа их, свободная, вечно витала где-то: как «душа Катерины», в *«Страшной мести»*, которую вызывал Пан-Отец, и она являлась к нему в замок всякий раз, когда сама Катерина имела неосторожность заснуть.

« — Меня сон так и клонит, мой любый муж... Мне думается, я боюсь... что опять засну».

Но что же все это значит, т. е. эта разница в условиях и, так сказать, «пространстве и времени» работы?

Ничего, кроме того, что ярко написано в этой разнице: душа *не нудила* Пушкина сесть, пусть в самую лучшую погоду и звездно-уединенную ночь, за стол, перед листом бумаги; тех трех — она нудила, и, собственно, абсолютной внешней свободы, «в Риме», «на белом свете» они искали как условия, где их никто не позовет в гости, к ним не придет в гости никто. Отсюда восклицание Достоевского, через героя-автора *«Записок о мертвом доме»* — об этом испытанном им мертвом доме:

«Едва я вошел в камеру (острог), как одна мысль с осо-

бенным и даже исключительным ужасом встала в душе моей:  
я никогда больше не буду один... долго, годы не буду»:

...и язык

Лепечет громко, без сознанья,  
Давно забытые названья;  
Давно забытые черты  
В сияньи прежней красоты  
Рисует память своевольно:  
В очах любовь, в устах — обман,  
И веришь снова им невольно,  
И как-то весело и больно  
Тревожить язвы старых ран...  
Тогда пишу.

Что «пишу», что «написал»? Даже и не разберешь: какой-то набор слов, точно бормотанье пьяного человека. Да, они все, т. е. эти три,— были пьяны, т. е. опьянены, когда Пушкин был существенно трезв. Три новых писателя, существенно новых — суть оргиасты в том значении, и, кажется, с тем же родником, как и Пифия, когда она садилась на треножник. «В расщелине скалы была дыра, в которую выходили серные одуряющие пары»,— записано о Дельфийской пророчице. И они все, т. е. эти три писателя, побывали в Дельфах и принесли нам существенно древнее, но вечно новое, каждому поколению нужное, языческое пророчество. Есть некоторый всемирный пифизм, не как особенность Дельф, но как принадлежность истории и, может быть, как существенное качество мира, космоса. По крайней мере, когда я думаю о движении по кругам небесных светил, я не могу не поправлять космографов: «хороводы», «танец», «пляска» и, в конце концов,— именно *пифизм* светил, как свежая их *самовозбужденность*, «под одуряющими внешнимиарами». Ведь и подтверждают же новые ученые, в кинетической теории газов, старую картезианскую гипотезу космических, влекущих «вихрей». Этот пифизм, коего капелька была даже у Ломоносова:

Восторг внезапный ум пленил...

и *была* его бездна у Державина: он исчез, испарился, выдохся у Пушкина, оголив для мира и поучения потомков его громадный ум. Да, Пушкин больше ум, чем поэтический гений. У него был гений всех минувших поэтических форм; дивный набор октав и ямбов, которым он распоряжался свободно; и сверх старческого ума — душа как резонатор всемирных звуков:

Ревет ли зверь...  
Поет ли дева...

На всякий звук  
Родишь ты отклик.

Он принимал в себя звуки с целого мира, но «пифийской расщелины» в нем не было, из которой вырвался бы существенно для мира новый звук и мир обогатил бы. Можно сказать — мир стал лучше после Пушкина: так многому в этом мире, т. е. в сфере его мысли и чувства, он придал чекан последнего совершенства. Но после Пушкина мир не стал богаче, *обильнее*. Вот почему в звездную ночь:

«— Барин всю ночь играл в карты»

— и, кто знает, не в эту ли и не об этой ли самой ночи Лермонтов написал:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,  
И звезда с звездою говорит.

Как хорошо. Почти — Вифлеемская ночь; да ведь почти и слышится «Слава в вышних богу»:

В небесах торжественно и чудно,  
Спит земля в сияньи голубом...

но поэт не догадывается о родстве ночи и ночи, как ничего не сознает и об одуряющих «парах». Он только «дурочка»-Пифия, и от этого одного неясность настроения его.

Что же мне так больно и так трудно...  
*Жду* ль чего? *Жалею* ли о чем?..

И посмотрите — «нет друзей», «не надо друзей»:

Уж не жду от жизни ничего я,  
И не жаль мне прошлого ничуть;  
Я ищу свободы и покоя —

таковы-то все они: и сейчас — в видения, видения; «душка» их полетит не то в замок к Пану-Отцу, как у Катерины, не то — подлинно к богу:

«Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и пущист тот луг, где я играла в детстве; и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород. О, как обняла меня добрая моя мать! Какая любовь у нее в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу» (*«Страшная месть»*).

Я б хотел забыться и заснуть.

Чтоб — всю ночь, весь день мой слух лелея —  
Про любовь мне сладкий голос пел;  
Надо мной чтоб, вечно зеленея,  
Темный дуб склонялся и шумел,

— и, еще лучше, если бы шумела целая «дуброва Мамврийская» (в еврейском подлиннике — не «дуб», а «дуброва Мамврийская»).

Отношение в древнем мире Гомера к позднейшим трагикам может дать аналогию отношения у нас Пушкина к последующим главным творцам. Гомер богаче и роскошнее порознь Эсхила, Софокла, Эврипиды. Но пришел нужный день — и из лона земли вышли Эсхил, Софокл, Эврипид, чтобы сменить и оставить лишь в качестве школьного обучения, а не живого руководителя толпы, священного рапсода. Пушкин, по многосторонности, по *все-гранности* своей, — вечный для нас и во всем наставник. Но он слишком строг. Это — во-первых. Но и далее, тут уже начинается наша правота: его грани суть всего менее длинные и тонкие корни и прямо не могут следовать и ни в чем не могут помочь нашей душе, которая растет глубже, чем возможно было в его время, в землю, и особенно растет живее и жизненнее, чем опять же возможно было в его время и чем как он сам рос. Есть множество тем у нашего времени, на которые он, и зная даже об них, не мог бы *никак* отозваться; есть много болей у нас, которым он уже не сможет дать *утешения*; он слеп, «как старец Гомер», — для множества случаев. О, как зорче... Эврипид, даже Софокл; конечно — зорче и нашего Гомера Достоевский, Толстой, Гоголь. Они нам нужнее, как ночью, в лесу — умелые провожатые. И вот эта практическая нужность создает обильное им чтение, как ее же отсутствие есть главная причина удаленности от нас Пушкина в какую-то академическую пустынность и обожание. Мы его «обожали»: так поступали и древние с людьми, «которых нет больше». «Ромул» умер; на небо вознесся «бог Квирина».